

Мои воспоминания.

О Государственной думе ¹⁾.

Во время своей деятельности в разных общественных организациях ²⁾ я убеждался с каждым днем, что пропаганда социалистических партий, в особенности социал-демократов-меньшевиков и социалистов-революционеров, делает неустанно свое дело; на моих глазах у людей, ничего общего ранее с социализмом не имевших, в речах стали проскальзывать разные партийные лозунги и пожелания, против которых редко кто решался возражать: такое «обновление» было в моде. Но всякие лозунги еще туда-сюда; гораздо больше поражал явный упадок национального чувства. Уже взгляд на наших врагов был совсем иной, чем приблизительно год тому назад; уже без негодования начинали говорить даже об отдельных случаях братания на фронте, уже явно чувствовалась усталость от войны и растущее равнодушие к успехам или неудачам нашей армии.

В широких кругах оборонческое настроение видимо слабело, а вместе с тем больший и больший успех приобретали призывы к «свободе, братству, равенству» и т. д. На моих глазах росла страшная опасность не только от развала власти, но и от увеличивающегося обезличения русской интеллигенции в смысле национальном и проникновения в массы социалистического «всечеловечества». Необходимо было с этим всячески бороться; но какая группа могла оказаться пригодной для этой цели?

В 1916 году ясно виделось, что у правых кредита в массах нет почти никакого; октябристов народ совсем не знает; может быть, кадеты? — Но не они ли всем своим предыдущим поведением содействовали такому повороту общественной идеологии? Оставалась наша группа про-

¹⁾ Автор — член последней Государственной думы, входивший во фракцию прогрессистов и не игравший заметной политической роли. *Ред.*

²⁾ Речь идет о 1916 г. *Ред.*

грессистов (куда примыкали так называемые радикалы-демократы) и карауловцы; но у последних только и было два интеллигентных думца — сам Караулов да некий Савватеев, совершенно непригодный по своим свойствам для пропаганды и широких выступлений.

Я решил попытаться действовать среди прогрессистов. В одном из фракционных собраний наших я изложил свою программу действий. Отметив, что все мы должны считаться с возможностью и даже неизбежностью революции в близком будущем, я указывал на настоятельную необходимость теперь же принять все меры к тому, чтобы эта революция оставалась только политической, без всякого уклона в сторону социального переустройства. Для этого необходимо всячески бороться со всеми проявлениями интернациональной идеологии, стараться поднять в широких массах сознание народного значения войны, доказать необходимость ее успешного исхода для будущего широкого развития России и в экономическом и в культурном отношении, разъяснить всю пагубность для нас поражения, всю ошибочность и преступность того взгляда, что война возникла по воле империалистов и капиталистов и служит только для удовлетворения их вожделений, принося народу лишь смерть и разорение, т.-е. — бороться с пораженчеством. Наконец, при неизбежной критике промахов и недочетов правительства, направлять растущее негодование не в сторону требования теперь же всяческих программных «свобод», а исключительно в сторону требований более решительной, реальной и деятельной помощи нашей армии, избличая беспощадно безобразия тыла, в значительной мере происходящие с ведома и попустительства правительства. Таким путем можно было бы, не идя против растущего оппозиционного настроения — это было в данное время немыслимо, — направить его по патриотическому пути и, в противовес социалистическим группам, создать из непримыкающих к ним слоев группу прогрессивно-национальную.

Как реальные средства я рекомендовал: во-первых, немедленное же основание газеты в противовес полусоциалистическому «Дню» и партийно-кадетской «Речи»; во-вторых, ряд лекционных поездок в разные местности России и попутное образование на местах центров или ячеек для борьбы с социалистическими и интернационально-кадетскими организациями; в-третьих, упорную пропаганду изложенных идей в петроградских кругах и интеллигентских и рабочих, рекомендуя для этого расширение и усиление деятельности уже существующих, вполне пригодных для того организаций, — так называемого «Прогрессивного кружка» и «Общества 1914 года».

Мои тезисы произвели впечатление; последовало очень оживленное их обсуждение, и все они были единогласно одобрены и приняты; но... тем дело и ограничилось; прогрессисты остались верными себе. Начну с газеты. Как раз к этому времени приехал в Петроград В. Л. Бурцев, с которым я и поспешил повидаться. К моей радости, он, давний и последовательный противник существующего строя, политический эмигрант и ярый изобличитель провокации со стороны и полицейских агентов, и партийных Азефов — совершенно согласился со мной и с увлечением ухватился за мысль о соответствующей газете. Вопрос был, конечно, в деньгах, но, к счастью, у прогрессистов недостатка в богатых людях не было: ведь нашими софракционеромы были А. Коновалов и гр. А. А. Орлов-Давыдов, про которых шутя говорили, что они, вместе взятые, могут купить всю думу, да и Государственный совет в придачу... Начались переговоры, в которых принимал близкое участие и наш лидер — И. Н. Ефремов. Говорили, говорили, и кончилось дело тем, что гр. Орлов-Давыдов, уже ранее бывший в сношениях с Керенским при женитьбе своей на Пуаре, вместо нашей газеты стали снабжать крупными деньгами эсеровские кружки (ведь надо же было их задобрить на всякий случай — он был обладателем чуть не 150.000 десятин), а Коновалов, после некоторых колебаний, дал деньги на газету М. Горькому¹⁾, интернациональный и пораженческий облик которого был уже тогда вполне ясен.

Так Бурцев и не добился ничего, и его газета «Общее Дело» осуществилась лишь через год слишком — в сентябре 1918 года.

С лекционными поездками также ничего не вышло. Я уже упоминал, что мне за время войны пришлось много разъезжать с лекциями, но это случалось всегда по приглашению каких-нибудь местных кружков или организаций: я и теперь не отказывался ехать куда угодно, но просил только, чтобы эти поездки осуществлялись под флагом фракции, а для этого было недостаточно какое-нибудь письменное полномочие; нужны были сношения с местными деятелями, нам сочувствующими, которые бы и приняли на себя заботы по подготовке лекций на местах. На поверку вышло, что ни у кого из фракции таких местных деятелей нет, и писем писать абсолютно некому. Тем не менее,

1) Ответственность за правильность этого сообщения целиком возлагаем на автора. Считаю нужным отметить, что в это время никаких газет Горький не издавал. «Новая Жизнь» начала выходить лишь после революции, и направление ее, несмотря на все патания и недоговоренности, было определено враждебно Коновалову и прочей «прогрессивной братии». *Ред.*

в 1916 году летом я читал ряд лекций в Николаеве, Киеве, Кременчуге, Житомире, Витебске, — но делал это за свой личный страх, без малейшей поддержки фракции, и, конечно, результат был вовсе не тот, как если бы за мною определенно стояла известная общественная группа. Кроме меня, ни один из членов фракции с места не тронулся, да и в Петрограде лекций никто не читал, а недостатка в лекторах у нас также не было.

Поучительна история нашей деятельности в двух указанных мною общественных организациях. «Прогрессивный кружок» возник еще в начале 1915 года из нескольких лиц, отделившихся от бывшего ранее политического салона А. Н. Брянчанинова. В числе других основателей его были М. П. Чубинский, М. П. Федоров, Е. П. Семенов и я. Вскоре к нам примкнул известный всему Петрограду Д. Н. Шубин-Поздеев (избранный, но не утвержденный столичным городским головой), проф. М. М. Ковалевский, несколько городских деятелей (симпатичнейший городской голова гр. И. И. Толстой, председатель думы С. В. Иванов и др.) и многие члены Государственной думы, по преимуществу из прогрессистов и октябристов, но были и кадеты и некоторые националисты. Собрания с политическими докладами и приемами происходили по любезному приглашению Шубина-Поздеева у него в доме. Председателем кружка был И. Ефремов, товарищем — я; в числе членов совета был, между прочим, и А. Зарубин. Кружок привился, и с каждым разом его собрания бывали все оживленнее и многолюднее. Уже у нас стали бывать очень многие ученые, литераторы, адвокаты, — вообще, сливки столичной интеллигенции; бывали и некоторые сановники — из либеральных. После сделанного мною во фракции тактического предложения я, И. Ефремов, В. Ржевский и др. стали в кружковых собраниях вести определенную пропаганду по намеченному пути; казалось, что все участники собраний были нашими сторонниками и все шло как будто бы хорошо: пропаганда нашла для себя благодатную почву. Но в конце 1916 года в кружке стали чаще и чаще появляться другие лица: Керенский, известный рабочий Гвоздев (одно время бывший министром труда во Временном правительстве) и даже М. Горький, который свое двухчасовое выступление посвятил всяческому оплевыванию всего русского народа и непомерному восхвалению еврейства. И что же? «Наша» публика, — та, которую мы уже считали проникшейся нашими мыслями, надежный оплот прогрессивного национализма, только что приветствовавшая наши выступления, — бешено аплодировала и Горькому, и истерическим воплям Керенского, угрожавшего близящейся «классовой борьбой», и другим субъектам, откровенно вос-

хвалявшим пораженчество. Я вскоре понял, что общественно-национальное чувство в наших высоко-интеллигентских кругах — мираж, обман зрения, а скрывается за ними в действительности — голая, мертвая пустыня. Так оно, при восприятии ими нашей «великой, бескровной», — и оказалось в скором времени.

В самом начале 1915 года в Петрограде образовалось «Общество 1914 г.», имевшее подзаголовком «Общество борьбы с немецким засилем». К участию в нем пригласил меня думец М. Судненко, и я принял предложение. Когда я вошел в Общество, то сразу же мне стало казаться, что оно стоит на ложном пути. Председателем его был В. П. Кочубей, членами совета — очень видные лица частью из аристократического, частью из купеческого мира — не только ультра-правые, но даже более того — в прямом смысле черносотенные. Вели они общество по линии травли лиц, имен, почти что к погромам. Мне, конечно, это претило, и я решил было отказаться от всякого соприкосновения с ними, но из расспросов узнал, что в члены общества записывается очень много мелкой буржуазии, приказчиков, ремесленников, даже рабочих. Это был как раз тот элемент, с которым я стремился сблизиться, — и я решил, что моя обязанность — не умыть рук, а всячески стараться направить общество на иной путь.

Вскоре мне пришлось убедиться, что мракобесническое направление совета вовсе не соответствует настроению большинства членов, а их числилось уже около 1.500 человек. Вся эта масса была инертна и неразвита в политическом смысле; она готова была к восприятию всякой пропаганды, но у совета умелых пропагандистов и опытных ораторов вовсе не было. В результате двухмесячной своей деятельности я достиг того, что самые ярые из членов совета ушли, он пополнился иными лицами, примыкавшими ко мне, а благодаря моей роли председателя общих собраний, весьма многочисленных, я видел, что крайние правые совсем потеряли всякое влияние, и мне предстоит обширное поле действий. Не могу без умиления и высшего наслаждения вспомнить, как целые полтора года члены, число которых дошло уже до 8.000 человек, жадно схватывали и горячо поддерживали мои выступления, в которых я развивал мысль о необходимости активной, а не покорной любви к родине, призывал к самостоятельности, указывал на долг каждого — сплотиться для общей борьбы за народные интересы, предостерегал от увлечений социализмом и интернационалом.

Конечно, наши интеллигентские круги сторонились от общества: ведь ни под какую рамку партийного трафарета его подвести нельзя было; его усердно замалчивали, но это

меня не смущало, по крайней мере, — противодействия нет. На призыв мой к прогрессистам поддержать общество откликнулось два-три человека, да и те являлись только для того, чтобы помолчать; из прочих думцев горячо отозвался только М. А. Караулов, который никогда никакими условностями или рамками не стеснялся, а действовал всегда непосредственно. Он был все время моим драгоценным и очень популярным в обществе сотрудником. Но—увы!—стоило только мне и Караулову на короткое время уехать из Петрограда, как обнаружилось, что здание мы строили на песке.

Вернувшись в августе 1916 года, после двухмесячной отлучки, я заметил, что в обществе видную роль играют какие-то новые лица, и роль эта идет совсем в разрез с прежними заданиями. Приглядевшись, я увидел, что в члены попало несколько человек эсдеков, стремящихся устроить настоящую провокацию в целях распада общества. На мое счастье, один из таких провокаторов был вскоре изобличен в растрате общественных денег, исключен из общества, и с ним вместе ушли его единомышленники; пропаганда их была непродолжительна и последствий не имела. Но сейчас же обнаружилось то же устремление уже с другой стороны. К моему удивлению, наши трудовики с самим Керенским, ранее только издевавшимся над обществом, вдруг обнаружили к нему особый интерес, а вскоре в члены записался некий Н. Кулябко-Корецкий, седовласый старец, слепой, с весьма внушительной патриархальной наружностью и недурной оратор. Он постарался вкратце в доверие к совету, очень ухаживал за мною, а под шумок вводил целыми партиями в общество всевозможных эсеров, с которыми имел партийные связи.

И вот, на моих глазах, те тысячи человек, которые каких-нибудь 3 месяца перед тем с доверием слушали меня, казалось, уже понимали, что такое государственные и национальные интересы, — стали быстрее и быстрее склоняться в сторону эсеровской идеологии и очутились во власти партийно-кружковых организаций. Некоторая, более устойчивая часть членов старалась этому препятствовать; начались распри, несогласия, скандалы, и общество перед самой революцией потеряло всякий смысл и значение. Эсеры могли торжествовать победу: они взорвали изнутри единственную для них опасную чисто-народную организацию.

Так плачевно кончились все попытки, во-первых, оживить деятельность фракции прогрессистов, а во-вторых, сплотить кого-либо для защиты государственно-национальных интересов при близящейся революционной грозе.

А гроза, действительно, приближалась. Сверху разруха

продолжалась и после убийства Распутина дошла до апогея. Сильно стал обостряться продовольственный вопрос, говорили о небывалом расстройстве транспорта. За единичными исключениями все общественные круги открыто бранили правительство. Толки об измене были у всех на языке. Возникло несколько забастовок. Протопопов превосходил самого себя бестактностью и нелепостью своих распоряжений, а дума, вернее, прогрессивный блок делал «полигику». Почти сплошь последний месяц перед революцией был занят в думе принципиальными пререканиями между А. Шингаревым и министром земледелия А. А. Ригтихом по вопросу о хлебной торговле: твердые ли цены на хлеб (иначе, монополия) или свобода торговли.

Шингарев, при сочувствии блока, видимо побеждал, но правда была не на его стороне, что и обнаружилось почти сейчас же после революции, когда хлебная монополия была введена, и цены на хлеб сделали безценный скачок вверх, а недостаток в хлебе стал повсеместным.

Еще 25 февраля, т.-е. за два дня до революции, происходило вечером в думе соединенное заседание двух комиссий — городской и сельскохозяйственной — по этому вопросу. А в тот же самый день императором был подписан указ о роспуске дум...

Воления в Петрограде, как известно, начались 23 февраля, но, насколько помню, ни в широких думских кругах, ни в обществе им особенного значения не придавали. Нормального хода жизни они не нарушали ¹⁾, — а меч над Россией висел уже на волоске. Так, 24-го я был в заседании «общества помощи военнопленным», разговор был все время сосредоточен на подготовке приближавшегося общего собрания, а утром на улицах была стрельба; 25-го назначено было очередное собрание у Брянчанинова, на которое я не попал, так как был в думской комиссии, но знаю, что там был поставлен вопрос о Триесте и Фиуме; а 26-го, менее чем за 12 часов до революции, было мирное общее собрание членов «Общества славянской взаимности», где читался годовой отчет и происходили выборы совета... О событиях почти ни слова. Только когда я с этого собрания возвращался домой пешком, меня поразила какая-то жуткая тишина и пустота на обычно-оживленных улицах — Литейном, Бассейной, Знаменской. Встречались одинокие конные патрули.

Господи, думал ли кто-нибудь, что этот вечер будет последним в нормальной жизни несчастной России!

¹⁾ Утверждение немного рискованное. Ибо даже по полицейским данным в этот день бастовало около 90.000 рабочих, а на улицах с утра до вечера происходили столкновения полиции с многочисленными рабочими демонстрациями. *Ред.*

* *

В 11 часов утра 27 февраля было назначено очередное заседание бюджетной комиссии по рассмотрению сметы тюремного управления. Не предвидя ничего чрезвычайного, около 11 часов я вышел из дома — я жил очень близко от думы по Кавалергардской улице — и уже подходил к Таврическому дворцу, когда столкнулся с П. К. Граном, начальником тюремного управления; он шел мне навстречу.

— Вы куда же, — спросил я, — разве заседание отменено?

— Да что вы, разве не знаете? Дума распушена, около входов стоит полиция и во дворец не пускает; я пришел, но меня не пустили.

Я был совершенно поражен и молчал, — и как раз в эту минуту на недалеком расстоянии от нас послышались одинокие ружейные выстрелы, скоро перешедшие в оживленную перестрелку и сопровождавшиеся смутным гулом, как будто от криков толпы. Мы смотрели друг на друга.

— А ведь это недалеко, как будто на Кирочной, — сказал Гран и прибавил: — ну, надо спешить домой, а то там могут перепугаться.

Он быстро направился к себе на угол Кирочной и Таврической, я же поспешил в думу, с бокового входа — на Таврической. Там полиции не оказалось; я вошел свободно и сейчас же встретился с некоторыми думцами, которые меня забросали новостями: войска отказались от повиновения офицерам, в казармы явилась толпа рабочих, офицер, пробовавший их не допустить, убит на месте; толпа с вооруженными солдатами вышла из казарм, пошла к Литейному; по пути к ней присоединяются войсковые части...

Известий было так много, и так они сбивчиво и противоречиво сообщались, что я был совершенно сбит с толку и не знал, кому и чему верить. Меня поразило, что между членами думы, бывшими во дворце в большом числе, не было ни одного сколько-нибудь значительного по руководящей роли: ни членов президиума, ни лидеров партий, ни даже главарей прогрессивного блока. Остальные были столько же осведомлены, сколько и я — и, несмотря на то, что в течение еще по крайней мере двух часов во дворец пришло еще много думцев, — все они сообщали лишь со слов других, сами не были очевидцами, и потому положение дела в наших глазах ничуть не выяснилось.

В думе царило общее смятение и растерянность и, вместе с тем, полное недоумение и негодование перед неожиданным роспуском. Повидимому, этот роспуск и для самих членов правительства был долгое время секретом: ведь указ о роспуске помечен был 25-м, между тем 25-го до поздней

ночи вместе с нами сидели министр земледелия А. Риттих и один из товарищей министра внутренних дел. Наконец, только что встреченный мною П. Гран... как же он не знал ничего о том, что стало фактом за два дня перед тем? К чему этот роспуск? Чем он вызван и зачем объявлен с таким запозданием? Чувствовалось всеми, что во всей этой загадочной истории есть и какое-то колебание власти, и ее растерянность, и даже трусость.

Наконец, уже во втором часу дня явился в думу секретарь И. И. Дмитриюков; от него мы впервые услышали последовательное повествование о событиях с утра 27-го, а также о посылке двух телеграмм М. Родзянко государю с настойчивым требованием немедленного образования ответственного министерства и с указанием на крайне тревожное положение дел в столице. Ответа ни на первую, ни на вторую телеграмму не получено. Совет министров бездействует, председатель его кн. Голицын в полном смятении, а усмирение беспорядков возложено на ген. Хабалова. Тем не менее, Дмитриюков считает, что беспорядки будут скоро подавлены, потому что приняты меры.

Как раз в это время вбегают два думца из крестьян, фамилии не помню, и кричат, что солдатами и рабочими взят арсенал, оружие разграблено и им вооружены рабочие, разросшиеся в громадную толпу... Эти два вестника, по их словам, были очевидцами происшедшего и с большим трудом пробрались в думу, так как половина Шпалерной и весь Литейный полны народом. По их словам, часть толпы, окончив с арсеналом, стала громить окружный суд, большинство же с криком: «в Кресты» направилось по Александровскому мосту...

Между думцами была полная растерянность; революции ждали почти все, но что она разразится теперь, — не ожидал никто, ни даже наши думские социалисты; по крайней мере, между нами все время было три-четыре трудовика и эсдеки — Бурьянов и Хаустов¹⁾; все они недоумевали вместе с нами... Чувствовалась у всех совершенная неподготовленность к каким-либо действиям и совершенное отсутствие плана; даже оживленные разговоры прекратились, а вместо них слышались вздохи, и короткие реплики, вроде: «дождались» или же откровенный страх за свою особу.

Вдруг меня требуют в думскую приемную. Иду туда и нахожу там двух рабочих, моих единомышленников по обществу 1914 года. Они мне сообщают, что настроение толпы очень возбужденное; большая часть настаивает идти в Таврический дворец и требовать указания от думы, что им

¹⁾ Меньшевики-оборонцы. *Ред.*

делать, а также просить ее взять в свои руки власть, так как правительство ничего не делает. Другая, меньшая часть — мои собеседники сказали даже: «отдельные горланы» — говорит, что с думой надобно «расправиться», потому что там одни «цензовые элементы». Слово «буржуй», очевидно, еще не получило в тот день общепризнанного «права гражданства».

Удручающе подействовала на меня беседа с рабочими: они ищут нашего указания, они пришли к нам с полной верой в нашу силу, — а мы? Мы не только не готовы к деятельной роли, но даже и не знаем ничего толком. Кое-как успокоил своих собеседников и сказал им, что как раз теперь думцы «совещаются» о том, что делать, а при этом спросил: «да что же сами рабочие, разве не готовились к сегодняшнему выступлению. Ведь, помнится, еще около месяца тому назад начались толки о выборах в совет рабочих депутатов на случай волнений?».

Ответили мне, что никаких выборов до сих пор не было, поговорили только о том и замолчали, и что рабочие в массе совсем не организованы; держатся сплоченно, но особняком от других, только социал-демократы; «да разве их большинство?» — прибавили рабочие. Замечу, что один из собеседников был путиловец, а другой с завода Парвизнен ¹⁾.

Простившись с ними, я вернулся в Екатерининский зал, а там уже была опять новость: Кресты взяты толпой, выпущены все арестанты, толпа направилась в Литовский замок... Окружный же суд, так же как и дом предварительного заключения, освобожденный от арестантов, пыдает в огне. Думцы с нескрываемым возмущением говорят об исчезновении наших главарей...

Но вот в половине третьего начинают появляться и они: прибыл Родзянко, Милюков, С. Шидловский и другие... Но, увы, нам от этого опять мало пользы: быстро прошли они все мимо, говоря на-ходу, что спешат на совещание старшин (так называлось заседание президиума с лидерами фракций; туда же приглашались члены президиума блока).

Наконец, в четвертом часу выходит Родзянко и торжественным голосом приглашает всех членов думы на частное совещание в полуциркульном зале. Быстро направляемся туда — всего набралось до 200 человек, — и Родзянко берет слово. Он очень кратко сообщает, что волнения в столице,

¹⁾ С своей стороны мы тоже заметим, что на этих и других работавших «на оборону» заводах было немалое количество спасавшихся от фронта патристических лавочников. Само собой разумеется, что подобного рода «рабочие» ни в малейшей мере не отражали настроения масс. *Ред.*

возникшие на почве продовольственного недостатка, в течение четырех дней усиливались, пока не вылились сегодня в вооруженный бунт; что правительство совершенно бездействует и как бы отказалось от власти, что на две телеграммы свои к государю он ответа не получил и что медлить с подавлением бунта невозможно. Члены думы должны обсудить положение и наметить меры к прекращению беспорядков. Первым высказывается Н. В. Некрасов, в общем представлении — крайний левый между кадетами и неизменно кокетничающий с трудовиками. Он соглашается, что положение очень серьезно и что поэтому президиум думы (в который входил и он сам) должен не медля ни минуты ехать к председателю совета министров кн. Голицыну и, указав на одного из популярных генералов, напр., Поливанова или Маниковского, просить о наделении его диктаторскими полномочиями для подавления бунта¹⁾.

Ему резко возражает М. А. Караулов:

«Я совершенно не понимаю Некрасова: почти вся дума, в особенности его фракция, вот уже полгода честит членов правительства дураками, негодьями и даже изменниками, — а теперь он предлагает ехать к этим «изменникам» и просить помощи... у кого? Ведь вы слышали, что они все перепугались и попрятались; что же, кн. Голицына из-под кровати будем мы вытаскивать? Надобно, чтобы мы сами перестали болгать, а что-либо сделали; сумеем — хорошо, а не сумеем — тогда нас надобно всех отсюда вон».

Потом говорил октябрист Савич: речь долгая, нудная и без всякого практического вывода; в переводе на обыкновенный язык: «с одной стороны, нельзя не признать, с другой, — надо сознаться...»

Еще два-три оратора — почти с тем же результатом.

Потом говорит В. Дзюбинский (трудовик). По его мнению, момент очень ответственный, бунт все усиливается, правительство окончательно дискредитировано и даже, по слухам, некоторые его члены уже арестованы. Если дума действительно является народным представительством, то ее прямой долг — действовать самой. Она должна образовать какой-нибудь комитет, с наделением его неограниченными полномочиями для восстановления порядка. Этого ждет именно от нее, а не от других большинство населения.

¹⁾ Весьма характерно, что как только революция стала очевидной, первым движением думских вождей было — искать генерала «для подавления бунта». Таково было стремление не только октябриста Родзянко, на первых порах возведенного было чуть не в герои революции, но и Некрасова, через несколько месяцев окончательно переокрасившегося в розовый цвет, ставшего правой рукой Керенского и порвавшего с кадетами из-за своей «левизны». *Ред.*

За ним просит слово П. Милоков, на которого и устремляются с упованием все взоры. Он не согласен ни с Некрасовым, ни с Дзюбинским. «Конечно, ехать к представителям правительства не нужно, да и бесполезно — они сами выпустили из рук власть. Но брать эту власть в свои руки дума также не может. Она является учреждением законодательных и, как таковое, не может нести функций распорядительных» (следует краткая, но точная экскурсия в область государственного права). Но, главное, мы уже потому не можем сейчас принимать никаких решений, что размер беспорядков нам неизвестен так же, как неизвестно и то, на чьей стороне стоит большинство местных войск, рабочих и общественных организаций. Надобно собрать точные сведения обо всем этом и тогда уже обсуждать положение, а теперь еще рано».

Милоков не кончил еще говорить, как в зал вбегает Керенский, ранее отсутствовавший, в сильном возбуждении. Он говорит, что громадные толпы народа и солдат идут к Таврическому дворцу и намерены требовать от думы, чтобы та взяла власть в свои руки. Он просит дать ему автомобиль, на котором он, по уполномочию думы, поедет в толпу, попытается ее успокоить и сообщить ей решение думы.

Общее недоумение и растерянные взгляды: ведь у нас еще разговоры, а никакого решения пока нет.

Не успевает Керенский кончить, как его прерывает вбежавший в перепуге думский служитель; он кричит, что передовые части солдат уже подошли к дворцу, хотели войти в него, их не пустил отряд караула, всегда находящийся около подъезда, и что начальник караула тяжело ранен выстрелом и унесен в приемный покой. Керенский поспешно убегает. Начинаются беспорядочные разговоры о «думском комитете».

Я беру слово и говорю, что мы делаем шаг исторической важности и что раньше, чем мы придем к окончательному решению, нам необходимо откровенно спросить самих себя: сумеем ли мы справиться с властью, которую на себя принимаем, и достаточно ли в нас самих для того силы и твердости. Во время моих слов из круглого зала доносятся крики и бряцание ружей; оказывается, что солдаты уже вошли во дворец. Родзянко наспех ставит вопрос об образовании комитета — крики «да». Он спрашивает, доверяет ли совещание образованию комитета совету старейшин, — вновь утвердительные крики, но уже немногих оставшихся в зале, так как большинство успело разойтись по другим залам. Совещание закрылось, — Рубикон перейден.

Я вышел в круглый зал, и первое, что мне бросилось в глаза, — это группа в 7—8 оборванных человек, стоявших в стороне и о чем-то оживленно говоривших между собою. Я спросил, кто это такие; мне ответили, что это — выпущенные из Крестов. Я с некоторыми другими подошел и стал прислушиваться к разговору: оказывается, идет речь о «совете рабочих депутатов». Вскоре к группе стали подходить еще разные личности, из которых кое-кого я узнал, как бывавших иногда в «Обществе 1914 года» во время его развала, а также некоторые из думских эсдеков: Хаустов, Ягелло... Уже говорили о том, что совет рабочих и солдатских депутатов следует считать сформированным, по преемству с 1905 года, и Хрусталева-Носаря должен считаться его председателем. Группа, возросшая уже человек до 30, направилась из зала по коридору и остановилась у дверей обширной комнаты, служившей для заседаний бюджетной комиссии; кто-то сказал: «Вот здесь будет удобно», — и все вошли в комнату. Стоявший у дверей служитель их безмолвно туда пропустил. Но через несколько минут из дверей показались двое, быстро направившиеся в кабинет Родзянко, где заседал совет старшин. Вернулись они скоро, и я слышал, как, отворив дверь в комнату, где продолжали сидеть все остальные, пришедшие объявили: «Сказал, что можно».

Оказывается, сами собравшиеся усомнились в возможности захватным правом воспользоваться комнатой во дворце и послали спросить о том председателя думы, который им ответил: «Пуускай сидят».

Таким образом с первых же часов допущено было постоянное присутствие в здании думы организации, ничего общего с думой не имеющей, а самочинно присвоившей себе наименование «совета депутатов», но фактически бывшей лишь сбродной кучкой подозрительных субъектов. Итак, начало двоевластия было положено с нашего же собственного благословения.

Между тем, залы дворца все больше и больше наполнялись солдатами и народом; уже в Екатерининском зале разбивались кучками, кто-то влезал на стул, что-то кричал, чего в суматохе нельзя было разобрать; слышались возгласы: «довольно, так его, правильно...» Что делалось в совещании старшин, мне неизвестно, но было ясно, что никакого шага для того, чтобы установить хоть какой-нибудь порядок в здании, предпринято не было; члены думы затерялись в толпе пришлых, служители куда-то исчезли, а из

«главарей» никто не показывался. Кавардак был полный и, главным образом, в буфете. Его брали с бою пришлые и в какой-нибудь час растащили все, что имелось на-лицо, — конечно, бесплатно. Поминутно слышны были новости: арестован Шегловитов, Трепов, Раев... Протопопов скрылся... громят полицейские участки... сжигают все дела... там-то и там-то убили того или другого полицейского...

Я решил сходить домой посмотреть, что там делается, так как недалеко от моей квартиры было охранное отделение, которое также могли разгромить. На улицах толпы; появились красные флаги, здесь и там слышалась русская марсельеза в ужасном беспорядочном исполнении — еще не научились.

В 7 часов вечера я опять пошел в думу. Картина мало изменилась, только едва я вышел на улицу, как меня сразу же озарил свет от пожара: горело охранное отделение, около которого весь тротуар и часть улицы была забросана разорванными и целыми бумагами и делами в синих обложках, а кругом то и дело слышались одиночные выстрелы. Большую часть стреляли впустую, просто в воздух; какой-то хулиган выстрелил в землю из револьвера мне под ноги.

В думе я нашел прежние толпы; появились на колоннах великолепного Екатерининского зала какие-то огромные плакаты, большую часть написанные крупными буквами от руки; поминутно бросались в глаза девизы: «В борьбе обрешь ты право свое», «Пролетарии всех стран», и т. д., Прочие же помещения (кабинеты, коммиссионные комнаты, канцелярии) буквально все кишели народом. Я сунулся было в кабинет секретаря, но продраться между солдатами не удалось; оказывается, там поместилась военная комиссия думы, руководимая нашим сочленом Б. А. Энгельгардтом. Пошел в финансовую комиссию — там восседают М. Караулов, М. Пападжанов и М. Аджемов: заняты приемом поминутно приводимых солдатами арестованных, опросом их, снятием показаний с приведенных и — безапелляционными распоряжениями о дальнейшем: отпустить или заключить под стражу. Пригласили и меня к ним присоединиться; я сел и начал «опрос».

Бестолочь невообразимая: солдаты и рабочие походя хватают на улицах того или другого за какое-нибудь слово, а иногда и просто по виду — если не понравится. Вся процедура снятия показаний сводилась ни к чему: надобно было всех «захваченных» просто освободить, а Энгельгардту (раз он уж принял на себя как бы главное командование гарнизона) строжайше запретить эти бессмысленные аресты при помощи надежно настроенных войсковых частей, в ко-

торых тогда, как и через несколько дней, еще недостатка не было¹⁾. Но это хулиганство не прекращалось, а наоборот, солдатам, приводящим арестованных, говорились комплименты и непременно увещания — трудиться для «закрепления революции».

Помню, например, как в вестибюле дворца, уже часов в 10 вечера, появился какой-то седовласый тип, на костылях, одетый в мундир поручика; он с помощью нескольких солдат привел человек 30 обезоруженных, но в форме жандармских офицеров и полицейских чиновников. Остановившись в круглом зале, он громогласно возвестил, что просит доложить о себе «руководителю революции, депутату Керенскому». Пошли за ним; Керенский явился и с горделивой осанкой остановился перед стариком. Тот, втянувшись елико возможно, держа руку у козырька, рапортует: «Имею честь доложить, что мною схвачены в разных местах, обезоружены и приведены 30 врагов народа. Головы их передаю в ваше распоряжение». Приняв «рапорт», Керенский внушительно ответил: «Благодарю, поручик, рассчитываю на вас и впредь... Уведите их!» — и важно удалился. Ни один вопрос: за что, при каких обстоятельствах были схвачены злополучные, задан «руководителем» не был; куда вести их — тоже никто не знал. Но толпа поняла по-своему это приказание: набросилась на приведенных и стала их неистово избивать кулаками и прикладами, так что некоторые из «врагов народа» здесь же повалились замертво, а других вытолкали за двери и куда-то действительно повели... — судьба их осталась неизвестной...

Два дня я просидел в «следственной» комиссии, но потом это бессмысленное занятие мне так опротивело, что больше я туда не приходил. Через несколько дней и сама комиссия прекратила свое существование, не оставив никаких следов своей деятельности, ибо никакого правильного производства не было, — допросы писались на клочках бумаги, которые тут же в беспорядке и валялись, а потом выбрасывались вон. Я захватил себе домой четыре таких клочка, и жалею, что они погибли в моем архиве, — это были любопытные документы.

Между тем, уже с пяти часов стало известным из отпечатанных экстренно летучек, что комитет думы избран; в него вошли представители всех фракций, входящих в прогрессивный блок, а кроме того, и члены фракций социал-демократов, трудовиков и прогрессистов. Остались не

¹⁾ Утверждение более чем рискованное. Вряд ли к тому времени имелась в Питере хоть одна часть, которую можно было бы использовать для борьбы против революции, в частности, для защиты от арестов деятелей и слуг царизма. *Ред.*

вошедшими только крайние правые, правые националисты и польское коло. Прочтя состав комитета, я сразу же пришел в уныние; это были те же главари и деятели архикомпромиссного блока, одобренные Чхеидзе и Керенским, которым, несомненно, до комитета и дела никакого не будет. Ни одного лица с твердой волей, мало-мальски активного и способного водворить порядок, в комитет не попало. Чхеидзе, действительно, сразу отказался от участия в комитете, а Керенский, после некоторых колебаний, заявил, что он в него входит, как представитель «демократии» (т.е., в сущности, для контроля действий остальных). Некоторые члены комитета в первые три дня революции очень мало показывались, — может быть, они были заняты и очень важными делами (не мне судить), но знаю, что никого из них в стенах думы я почти не видал и какого-нибудь порядка в самой «приявшей власть» думе никто и не думал восстанавливать.

Зато самозванный «совет рабочих депутатов» (надобно отдать ему справедливость) работал во-всю. Уже к вечеру 27 февраля от него были разсланы посланцы на петроградские заводы, а также в войсковые части для спешных выборов депутатов, и уже на следующий день явилось более 120 человек, избранных главным образом с заводов и фабрик. Совет стал превращаться из самозванного в реальное, основанное как-никак на волеизъявлении рабочих, учреждение. Пребывание же в здании думы для него было в высшей степени выгодным: дума кишела народом, поминутно являлись депутаты от всевозможных общественных организаций и войсковых частей, приходивших не только для приветствий с избавлением от «старого режима», но и за указаниями, что им делать, и за разъяснениями насчет ближайшего будущего. Некоторые, но очень немногие из этих депутатов после долгого ожидания проникали в думский комитет, но огромное число так и не могло этого добиться; зато в «совете», заседавшем непрерывно и днем и ночью, являвшиеся находили самый радушный прием, с ними подробно беседовали, их снабжали инструкциями, им разъясняли настоящее и наводили на будущее, — конечно, с соответствующей точки зрения и создавалось общее впечатление, что указания получены от самой думы, «возглавившей революцию», с ведома и согласия которой «разъяснители» сидели рядом с ней, в одном и том же доме. А помимо того, целый день разъезжали посланцы из совета в качестве пропагандистов на заводы и в войсковые части; повсюду шли спешные выборы депутатов, число которых росло весьма быстро, а депутаты выбирались, конечно, сообразно полученным от совета инструкциям.

А комитет, говорят, делал «высшую политику», совершенно забыв о пропаганде, и ни 27, ни 28 февраля от него не было командировано ни одного лица для беседы или пропаганды на места, в которых в эти дни чувствовалась особая необходимость. В распоряжении комитета было более сотни думских же членов, которые слонялись без дела и никуда не могли приткнуться. Только первого числа раскачался комитет — уже в то время, когда плоды советской, притом явно пораженческой пропаганды стали обнаруживаться. Но и с того же дня стало безусловно ясно, что комитет совершенно закрывал глаза на вполне реальную и очевидную опасность непомерного роста социалистической пропаганды, а намеревался бороться исключительно с фантомом контр-революции справа¹⁾. Это была роковая недалекость и, я сказал бы даже, политическая тупость.

Н. Николаеву и мне первого марта были даны именно в этом смысле инструкции при командировке нас в село Ивановское, верстах в 30 по Шлиссельбургскому шоссе, где была расположена автомобильная часть. Оттуда явилось несколько солдат, заявивших о контр-революционном настроении своих офицеров. Нам сказали (именно Некрасов), что надлежит совершенно ликвидировать это настроение, не останавливаясь даже перед арестами офицеров. Приехав туда, мы сейчас же выяснили, что никакого контр-революционного настроения нет, а за таковое солдаты принимают желание офицеров поддержать дисциплину, офицерство же само встретило нас громким «ура» в честь новой власти. Из расспросов оказалось, что и здесь уже побывали пораженческие агитаторы, но были встречены холодно. Пользуясь случаем, мы с Николаевым в речах своих резко подчеркивали, что вся полнота власти после революции перешла к думскому комитету, а им уже передана составленному Временному правительству, и что никакие другие организации, в том числе и совет рабочих и солдатских депутатов, к этой власти касательства иметь не могут. Кроме того, оба мы предостерегали от неизвестно кем посланных агитаторов и убеждали не поддаваться их интернационально-пораженческой пропаганде. После наших речей последовало братание солдат с офицерами, вся часть была выставлена шпалерами по нашему пути в стройном порядке, и мы уехали, провожаемые овациями.

¹⁾ Все это, говоря словами Марка Твена, „сильно преувеличено“. На самом деле пропаганда совета, в большинстве своем эсеро-меньшевистского, совсем не была „пораженческой“. Что же касается думцев, то, по свидетельству самого же Мансырева, „первейшей их заботой было подыскание подходящего генерала для подавления бунта“. См. стр. 266. *Ред.*

Такой же результат был достигнут в тот же день вечером при поездке моей с депутатами Милютиным и Симоновым в 1, 2 и 3 запасные пулеметные полки, расквартированные на Охте; и про эти полки нас также в думе предупредали, что там ведется офицерами злостная агитация за восстановление старого режима. Бедные члены комитета, опасаясь реставрации, сами своими действиями всецело способствовали укреплению той силы, которая позже их же и смела.

То же повторилось и на следующий день, 2 марта. В думе я говорил речи 86 и 88 дружинам, а потом ездил в Петроградский полк. Настроение солдат везде было хорошее, радостное и дружное. Вечером я побывал в канцелярии Измайловского полка, куда меня просили заехать офицеры. Здесь же находилось человек 5 присланных из совета рабочих депутатов, а также избранные депутаты полка. Мне рассказали, что незадолго явились какие-то два субъекта, которые назвались членами совета рабочих депутатов и вели пропаганду между солдатами в смысле требования окончания войны, читали «приказ № 1» и убеждали не повиноваться офицерам и зорко следить за их поведением. Солдаты сами усомнились, привели агитаторов в канцелярию и там потребовали от них полномочий, но таковых не оказалось, и их вытолкали вон. Меня просили разъяснить, какой смысл и значение имеет этот приказ № 1. Я, разумеется, сделал все возможное, чтобы опорочить его в глазах солдат, и добавил, что, насколько известно мне, совет рабочих и солдатских депутатов и сам к приказу относится отрицательно. Двое из бывших здесь же членов совета подтвердили мои слова и заявили, что не только лично им ничего не было известно о составлении этого приказа, но что в их присутствии, несколько часов тому назад, в заседании совета сам Чхеидзе (избранный председателем вместо Носаря) категорически утверждал, что приказ исходит не от совета, а от некоторой его части, не посчитавшей нужным при составлении выслушать мнение совета, а потому и принявшей за него ответственность только на себя. Тогда меня стали спрашивать и офицеры и солдаты: «А что же смотрит военный министр Гучков? Как он тотчас же не запретил печатание и распространение приказа?». Вот на этот вопрос, признаюсь, мне было стыдно и больно отвечать, — и все, что я мог сказать, это то, что Гучков, вероятно, не успел этого сделать...

Но, тем не менее, изгнанные из полка агитаторы успели достигнуть своего. На следующий день (3 марта) я и член думы св. Д. Попов поехали для беседы в тот же Измайловский полк. В 1, 2 и 3 ротах, а также в учебной команде

дело сошло вполне благополучно; нас внимательно слушали, аплодировали и даже выносили на руках. Но в 4 роте, мы заметили, что речи наши воспринимаются несколько иначе: слушали, но кое-где слышались реплики недоброжелательного свойства. А после нас на эстраду вышел какой-то оборванец-солдат, уже средних лет (типичный дезертир), и стал убеждать слушателей не верить нам — мы-де посланы «капиталистами», начавшими войну, и являемся врагами народа...

Произошла суматоха: большинство все-таки было на нашей стороне, но и сочувствующих оборванцу оказалось достаточно. Раздавались крики: «вон, буржуи»... — и даже два-три возгласа об аресте. Это был первый признак начавшегося разложения армии.

* *
*

В моих воспоминаниях я намеренно не касаюсь главных исторических фактов русской революции: отречения царя и в. кн. Михаила, образования Временного правительства и первых его действий, взаимоотношений совета рабочих и солдатских депутатов с правительством и думой, наконец, военных и матросских бунтов на фронте и положения последнего. Во-первых, это уже достаточно освещено другими, а во-вторых, обо всем этом я мог бы писать лишь по наслышке, так как, слава богу, к руководящим в то время сферам я никакого касательства не имел. Цель моя — охарактеризовать и выяснить роль думы во время переворота и после него, а действий Временного правительства я касаюсь лишь постольку, поскольку они имели отношение к той же думе и ее комитету, из недр которого первое Временное правительство и вышло.

Первое, что я могу сказать о сумбурных двух неделях после революции, — это то, что общее впечатление получалось такое: все столичное население, весь Петроградский гарнизон, а также все сколько-нибудь сознательные общественные круги вне столицы всеми своими помыслами стремились к думе; она была популярна, как никогда, авторитет ее стоял необычайно высоко, и именно в ней, а не в каком-нибудь другом, видели панацею исцеления России от всяких зол и бед.

Совет рабочих и солдатских депутатов нигде никаким авторитетом, кроме партийных социалистических организаций, не пользовался, и роль его вне думы была мало заметна¹⁾; бороться с захватом им власти было еще очень

¹⁾ Это тоже сильно преувеличено. „Всеми помыслами стремились“ к думе (и то не ко всей, а к ее левому крылу) главным образом обы-

легко, тем более, что и совет, разросшийся чуть не до 1.500 человек, из которых две трети были солдаты, а только треть — рабочие, далеко не представлял собою однородного целого.

Было бы тяжело, да, пожалуй, и бесполезно перечислять теперь все роковые ошибки, сделанные Временным правительством в течение первого же месяца его существования и, на мой взгляд, систематически шедшие навстречу социалистическо-интернациональной идеологии, неминуемо приведшей к большевизму. Но я считаю нужным еще раз подчеркнуть, что и продолжавший существовать думский комитет не только не боролся против этих ошибочных шагов, не только не воздействовал на правительство хотя бы предостерегающим образом, но или держался в рамках полного бездействия, или беспомощно плелся в хвосте событий, обсуждая их уже *post factum*¹⁾.

Например, отношение к фронту. Приказ № 1 тотчас по его изготовлении был, конечно, целыми тюками отправлен на фронт; за ним туда нахлынула масса агитаторов, и уже в начале марта на ближайшем к Петрограду северо-западном фронте ярко сказались последствия этого, — падение дисциплины, отказ войск от наступления, нескончаемые митингования по ничтожным поводам, наконец, смещения и аресты офицеров. Необходимо было немедленно же принять меры. Но комитет в это время занят был другим: он распределял всех сколько-нибудь активных членов думы на комиссарские места в столичные учреждения и в провинцию, — конечно, в первую голову из тех, которые входили в прогрессивный блок или склонны были ему сочувствовать; прочие оставались под подозрением. А про фронт впервые вспомнили лишь 12 марта, и только 15-го немногие оставшиеся налицо думцы были приглашены на совещание о плане фронтовых поездок; в действительности, они были осуществлены еще позже, например, на западный фронт меня, в числе прочих, командировали лишь 18-го, на юго-западный — несколько групп депутатов отправлены были только с 5 по 10 апреля, а на румынский — так и не был послан никто: все пригодные для того лица оказались занятыми другими, более спокойными делами. Тот же фронт жадал и газетного осведомления о событиях; там царил полная неизвестность о происходящем, все было сбито с толку и терялось в массе сбивчивых, разноречивых и часто ложных

вательские элементы. Среди рабочих и гарнизона гораздо более популярен был совет, роль которого была более чем „заметна“ вне думы. *Ред.*

1) Задним числом. *Ред.*

известий. За газетами стали в думу приезжать с фронта и офицеры и солдаты уже 3—4 марта. А комитет удосужился и этот вопрос поставить только 13-го, и на следующий день была образована газетная комиссия, на которую возложено снабжение и петроградских и фронтовых частей газетами,— уже тогда, когда и те и другие были завалены разными изданиями, зачастую подпольными, от совета рабочих и солдатских депутатов...

Скоро в Петрограде объявился Ленин со своими присными; пошли митинги у дворца Кшесинской, большевистская опасность проявилась наглядно; а спустя почти месяц (5 апреля), при командировании меня и св. Филоненко на юго-западный фронт, председатель комитета С. Шидловский дал нам следующую инструкцию: мы обязаны были находиться в постоянном контакте и действовать в полном единомыслии с одновременно едущими с нами четырьмя представителями совета рабочих и солдатских депутатов, отнюдь не обнаруживая каких-либо разногласий с ними. После получения такого напутствия оба мы хотели было отказаться от почетной миссии, но после решили, что все-таки наше присутствие будет в известной мере полезно, и мы сможем воспрепятствовать кое-каким эксцессам наших спутников.

Отправились мы 9 апреля, при чем сопровождавшие нас «товарищи» предупредительно заехали за нами на квартиру, сопровождали до вокзала и сели вместе с нами в вагон; с этого дня и до возвращения нашего (21 апреля) они ни на минуту не покидали нас: мы все время были как бы под конвоем. Впрочем, в этом была и своя хорошая сторона. Железные дороги были уже в значительной мере «демократизованы», и если бы не наши спутники, мы бы, во-первых, не могли бы ни найти места (несмотря на то, что нам было дано отдельное купэ), ни избежать опасности быть из него прогнанными. В первую же ночь в наше купэ стали ломиться какие-то солдаты, а так как им не отворяли, то они стали ломать двери прикладами, грозя покончить с засевшими «буржуями». Но один из сопровождавших нас (некий Иоффе, юный ротный фельдшер) вышел и стал уговаривать ломившихся; он долго с ними говорил, но все-таки убедил, и нас оставили в покое.

За время пути до Каменец-Подольска мы разговорились «по душе», и я убедился, что, в сущности, наши охранители — ребята вовсе не плохие; у них была и душа и даже некоторый здравый смысл; но эти качества совершенно исчезали перед их абсолютным невежеством и затверженными партийными формулами: какие-то попугаи, которых физически нельзя заставить говорить по-иному... На многих

митингах мы выступали совместно. Выйдет один из наших товарищей и начинает нести ахинею: «без аннексий и контрибуций... капиталисты начали войну... пьют нашу кровь...» и т. д. Выступаешь после него, понятно, совсем в ином стиле. После речи подходит говоривший и, горячо пожимая руку, выражает полное согласие со сказанным. Ну, думаешь, переубедил его — и начинаешь исподволь натаскивать его на правильные мысли для будущего выступления; он соглашается вполне, и вот на следующем митинге даже сам заявляет: «ну, теперь слушайте, я буду говорить солидарно с вами». Действительно, сначала идет как будто хорошо, но затем бедняга запутается и опять: «буржуи... контр-революционная гидра... война дворцам»... И так в течение двух недель нашей совместной поездки.

Но я должен сказать по справедливости, что в то время юго-западный фронт далеко не представлял собою ту картину разложения, которую мы видели в Петрограде и ближайших к нему местностях. Мы посетили свыше 25 полков, не считая отдельных небольших отрядов, а также разных митингов, составлявшихся по пути из солдат и местных жителей; в общем впечатление получилось очень благоприятное: настроение патриотическое, полная готовность к наступлению, недурная дисциплина и даже отсутствие резкого антагонизма между солдатами и офицерами; бывали кое-какие недоразумения, но мы их сравнительно легко ликвидировали.

В Каменец-Подольске на заседании местного совета солдатских депутатов наши спутники коснулись того же вопроса о взаимоотношении правительства и совета и, по обыкновению, понесли свое, — что, дескать, правительство — власть исполнительная, а совет — и законодательная, и распорядительная, а потому совет выше, и правительство должно ему подчиняться. Тут я уже вышел из пределов «инструкции» и в очень резком тоне стал возражать; говорил я долго и, к моему удовольствию, а также удивлению, видел, что все присутствующие на моей стороне; а когда я кончил и предложил резолюцию в том смысле, что правительство — единственная в стране власть и что все обязаны подчиняться только его распоряжениям, то она была единогласно принята, а мой злополучный оппонент, подойдя ко мне, заявил: «правильно, совершенно правильно; ведь и я это самое хотел сказать».

В Каменец-Подольске мы познакомились с Брусиловым, тогдашним главнокомандующим фронтом, и сообщили ему наши наблюдения. Он подтвердил, что, действительно, в общем его фронт пока благополучен, но что хуже других настроение в VIII армии, которою командовал Каледин,

и просил нас отправиться туда. Мы в тот же день поехали в Черновицы, где был штаб армии. Каледина я застал весьма озабоченным и как-то удрученным. Он жаловался, что ему сильно портит соседняя IX армия, откуда за последние дни начинают в большом числе проникать агитаторы, и, несмотря на все меры, он не может этому воспрепятствовать, так как встречает мало поддержки и в комитетах, и в некоторых начальниках отдельных частей; он жаловался, что появились между офицерами, в особенности между вновь присылаемыми из столицы, новые типы, склонные подлаживаться к солдатам, заискивающие в них и не только не поддерживающие дисциплину, но содействующие ее упадку. Он особенно был недоволен так называемую Поливановской комиссией, действовавшей тогда по инициативе Гучкова и явно игравшей на «демократизации» армии, т.е. на поддержке розни между офицерами и солдатами¹⁾.

В пределах VIII армии мы объехали до 12 полков и отдельных частей; действительно, настроение было несколько хуже, чем встреченное нами до тех пор; попадались полки (напр., 443), в которых антагонизм между командованием и нижними чинами принимал довольно резкие формы; но по справедливости должен сказать, что если в этом агитация сыграла известную роль, то не менее виновато в данном случае было и начальство: полковой командир производил очень невыгодное впечатление своим безучастным отношением к подчиненным и как-то совершенно ступевающим в жизни полка; отдельные офицеры также далеко не соответствовали своему призванию, но, повторяю, это было не общее явление, и в массе юго-западный фронт производил впечатление хорошее. Такое же заключение вынесли и два других думца — кн. Шаховской и Кузьмин, которые объезжали VII армию и с которыми мы встретились в Киеве уже на обратном пути.

Все мы были согласны, что фронт сам по себе еще здоров, но что его систематически и непрерывно портит центр, т.е. Петроград, своими колеблющимися, нерешительными и явно играющими в руку социалистам действиями и распоряжениями. Нам казалось, что будь хоть немного более властной энергии и патриотизма наверху, военная обстановка была бы поправима.

¹⁾ Ни Поливановская комиссия, ни Гучков, конечно, в последнем неповинны. Их задачей было не сгнать розни, а восстановление «дисциплины», т.е. подчинения солдат офицерам. Что касается «демократизации», то в нее они лишь «играли». Эта игра была вынуждена, ибо без «демократических» уступок нельзя было овладеть солдатами. *Ред.*

Мы приехали в Петроград 21 апреля, — как раз в тот самый день, когда Ленин и его присные сделали свою первую пробу, — демонстрацию на Марининской площади, — и сразу окунулись в разлагающуюся, смрадную атмосферу столичных соглашательств. До какой степени поразительна была разница между здоровою, стойкою обстановкой на фронте, в которой мы отдыхали около двух недель, и бессмысленным, преступным политиканством, нескончаемой болтовнею и жадной погоней за властью и влиянием, которые мы нашли здесь! Когда мы в самый день приезда пытались увидеть членов комитета для доклада о поездке, никого из них в думе не оказалось; на следующий день мы удостоились кое-кого лицезреть, но наш доклад их, очевидно, совсем не интересовал: все их помыслы были сосредоточены на назревавшем министерском кризисе и на гадании: какой состав министерства может образоваться в близком будущем. Лишь через 4 дня удосужились созвать совещание членов думы для выслушания докладов лиц, ездивших на разные фронты.

А через два дня, 27 апреля, состоялось торжественное заседание членов думы всех четырех созывов: предполагалось подвести итоги «сильных» 11 лет деятельности думы, поднять ее явно клонившийся к упадку престиж и авторитет; говорилось много речей — все прекрасными ораторами, но правдива и откровенна была из них только одна речь — косноязычного М. Скобелева: «Дума уже умерла, мы имеем дело с призраком, и так как мы — люди с трезвыми взглядами, то ни пугаться этого призрака, ни даже считаться с ним не стоит».

Жестокие, но правдивые слова: возражать на них было нельзя... Захватив выпущенную из рук прежним строем власть, дума в лице своего комитета, а потом Временного правительства, обнаружила полное непонимание задач момента, полное отсутствие воли и энергии к удержанию этой власти, совершенную бесплодность и никчемность бессистемных, противоречивых и чисто декларационных потуг законодательства; она совершенно проглядела с самого же первого момента настоящую, грозную опасность от партийно-социалистического натиска, черпавшего силы в безграничной темноте народной и в сплоченности бывших подпольных деятелей, которые выплыли наверх при новой обстановке; вместо борьбы с этими темными силами она все время стремилась к соглашательству и компромиссу с ними, и с ними же (к явной гибели для всего государства) все время занималась донкихотской борьбою с призраками

контр-революции, последовательно сметая и дезорганизуя все то, что стояло на пути к осуществлению идеалов Циммервальда и социальной перестройки общества. Она с величайшим усердием уготовала путь для победоносного пришествия большевиков, и по справедливости ей принадлежит крупная доля заслуги в подготовке превращения когда-то великой и обильной страны в пустыню, полную ужасов неопишуемых и невероятных.

В сущности, здесь мои воспоминания о Государственной думе и заканчиваются. С образованием в начале мая 1917 года министерства «спасения революции» (не России) всякое ее значение в жизни страны кончается, и дальше идет полгода агонии полуживого прозябания. Все сколько-нибудь видные думцы разъехались по местам, другие цепко держались за «властные» посты и хотя вполне сознавали, что их деятельность не только бесполезна, но даже при данных условиях вредна, не желали и не могли расстаться с преимуществами своего положения. Комитет где-то существовал, не обнаруживая себя абсолютно ничем; совещания членов, предполагавшиеся сначала еженедельно, собирались все реже и реже, участников в них было меньше и меньше, говорилось и обсуждалось на них то, что давным-давно было известно маленьким детям на улице; а когда в начале июня в Горьковской пораженческой газете «Новая Жизнь» появились ехидные намеки на то, что в думе-то именно контр-революция и кроется, то господа из комитета совсем перепугались и совещаний больше не созывали.

За полную бесполезностью думы в газетах одно время все чаще и чаще писалось о необходимости ее формального роспуска; это же говорилось и в совете рабочих и солдатских депутатов. Потом писать и говорить перестали: уже не стоило. Сочли более удобным просто физически выдворить думу из дворца: сначала заняли одну комнату, потом несколько, потом объявили, что все залы (Екатерининский, полуциркульный, круглый) находятся исключительно в их распоряжении, потом упразднили буфет, почтовое отделение, взяли всю левую половину здания, дальше заняли канцелярии, кабинет председателя, выселили служащих из квартир и, наконец, в распоряжении думы оставили только библиотеку и маленькую комнату для распорядительного комитета. Впрочем, и последнему угрожала ежедневная опасность: каждый день являлось несколько неизвестных субъектов, всегда вооруженных, и один за другим требовали, чтобы мы убирались куда знаем. Приходилось убеждать, доказывать, просить.

Наконец, вся советская орава решила перекочевать в Смольный. Во дворце стало свободно — и пусто. Из чле-

нов думы налицо оставалось только не более 10 человек, которые бродили, как сонные мухи, по опустевшим залам; хозяевами положения были немногие оставшиеся сторожа, которые диктовали свои условия распорядительному комитету.

Во время большевистского переворота я в Петрограде не был и приехал только после восстановления железнодорожного движения, 5 ноября. На следующий день пошел в комитет — и через полчаса был не совсем вежливо выпровожен оттуда вместе с делопроизводителем. Мы были последними, покинувшими Таврический дворец. Прощай, Государственная дума. Мы отцвели, не успевши расцвести.